

Вера Калинова

ПОПРОБУЙ ДОКАЖИ

Дело присяжной чуткой



Вера Калинова

Попробуй докажи

«Автор»

2026

Калинова В.

Попробуй докажи / В. Калинова — «Автор», 2026

Уездный город Листвянск, декабрь 1893 года. Домну Веригину будят в третьем часу ночи: купец Прохоров найден под лестницей, «упал пьяный». Домна — присяжная чуткая при полиции. Коснётся голой рукой — и знает, убивал человек или нет. Больше ничего: ни кто, ни когда. Старая кровь на руке не отличается от свежей. Её лист подшивают к делу — и не читают: суд чуткой не верит. Кухарка чиста. Работник, старый солдат, — кровь, но турецкая. А управляющий покойного, жених его дочери, руки не даёт. Он не обязан: свободный человек вправе. Новый следователь из губернии ищет улики, которые можно положить на стол. Домна знает правду — и не может её доказать. А тот, кто стоит за управляющим, пишет кляузы круглым почерком и знает, какие замки ставил её отец. Рука знает. Попробуй докажи.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	14
Глава 4	17
Глава 5	20
Глава 6	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Вера Калинова

Попробуй докажи

Глава 1

За мной прислали в третьем часу, и я надела четверговую пару.

Перчаток у меня семь, по гвоздям в сенях, и Устя — племянница, дочь покойной сестры, у меня с десяти лет — говорит, что это дурь. Это не дурь. Когда тебя будят ночью и везут к мёртвому, важно, чтобы руки сделали хоть что-то привычное, прежде чем сделают то, за что платят рубль.

Урядник Пахом стоял у калитки с фонарём и смотрел мимо меня. На чуткую в упор не смотрит никто.

— Купец Прохоров, — сказал он. — Под лестницей. Исправник велел: руки домашним посмотреть.

— Домашних много?

— Кухарка, работник, дочь. Дочь спит.

— Дочь не будите. Девицу поднимать среди ночи к мёртвому отцу — пусть исправник сам решает, при себе. Я ему скажу.

Он кивнул фонарём. Санки у него были казённые, узкие, с одной полостью на двоих, и всю дорогу по Соборной мы молчали: он — потому что урядник, я — потому что в такую ночь говорить не о чем, а дышать надо реже. Мороз стоял сухой, под тридцать. Снег не скрипел, а свистел под полозом.

У Прохоровых было тепло. Я поняла это ещё в сенях, не раздеваясь: печи протопили вечером, закрыли выюшки, и дом держал ровный, сытый дух. Хозяин лежал под лестницей, головой к нижней ступени, в поддёвке и в одном сапоге; второй стоял рядом, аккуратно, носком к стене, как ставят сапог, когда разуваятся сидя, не спеша. Кухарка Фёкла держала над ним свечу и не двигалась.

— Не трогали?

— Куда ж трогать. Лежит.

Я присела на корточки. У Савелия Игнатьевича были большие усы, моржом, он ими гордился, и сейчас в них стоял иней. Не снег с улицы, снег бы давно сошёл. Иней, мелкий, по волоску, какой садится на усы от собственного дыхания на морозе, если долго ехать молча. Под лестницей, у самого чёрного хода, по полу тянуло: дверь была пригнана плохо, свеча ложилась набок, и оттого иней ещё держался. Он уже оседал: при свече было видно, как по волоскам собираются капли. К приходу доктора его не будет, и никто, кроме меня и Фёклы, его не увидит.

Я посмотрела на ступени. Пятнадцать штук, крутые, дубовые, натёртые до блеска — Фёкла натирала их воском по субботам, это знал весь город, потому что весь город на них хоть раз да поскользнулся. Ни одной царапины. Ни одной капли. Под затылком у Савелия Игнатьевича темнело, но не на ступени — на половике, и половик был сбит к стене, как сбивают ногой, когда проходят мимо, а не когда падают. У правой руки лежали черепки стакана, и половик там был мокрый и пах наливкой — сладко, на весь угол.

— Фёкла. Чёрный ход.

Она пошла впереди со свечой, через кухню. Засов на чёрном ходе был отодвинут. Не сломан, не сбит — отодвинут изнутри, до конца, и дужка аккуратно лежала в пазу. Я открыла дверь. Чёрное крыльцо у Прохоровых выходило на задний двор, и к нему от ворот на зады — тех, через которые возят дрова и сено, — шла накатанная дорога. Ворота стояли приоткрытые. По дороге от ворот до самого крыльца лежал свежий санный след, две полосы, одна с косой

бороздой; у ступеней между полосами снег был сбит двумя рядами следов, носками к крыльцу, а между рядами тянулась полоса, будто волокли мешок. Дальше, за воротами, след уходил в переулок, и там его уже переметало.

— Я не отпирала, — сказала Фёкла раньше, чем я спросила.

— Я и не спрашиваю. Смотрю.

Она перекрестилась на печь. Свеча у неё в руке не дрогнула. Голос — дрогнул.

На кухонном столе были два стакана. Один с остатком наливки на доньшке, другой пустой, перевернутый. Я их увидела, как видят два стакана, и не подумала о них ничего. Потом я об этом вспомню, и оправдаться мне будет нечем, кроме того, что в третьем часу ночи чуткую зовут смотреть руки, а не посуду.

— Давай руку, — сказала я Фёкле.

Она вытерла ладонь о передник, хотя ладонь была сухая, и подала. Я сняла правую перчатку, взяла её пальцы в свои и подержала столько, сколько нужно: пока не пройдёт первый холод чужой кожи и не станет понятно, что за ним. За ним не было ничего. Фёкла была чиста, как вода в проруби. Я отпустила её, и она тут же спрятала руку за спину, как все они прячут, будто я могла что-то унести.

— Работник где?

— Матвей. В людской. Я его не будила, велено было не будить никого. Людская у нас снаружи запирается, с тех пор как упряжь увели, — я сама отпираю.

— Отопри и буди.

Матвей пришёл быстро, одетый, в сапогах, с лицом человека, который и не ложился. Высокий, сутулый, седой с одного боку — говорили, после контузии. На хозяина под лестницей он посмотрел один раз, недолго, и повернулся ко мне.

— Руку, матушка?

— Руку.

Он дал её сам, не дожидаясь, и смотрел при этом в потолок. Ладонь была широкая, в мозолях от вожжей, тёплая. Я взяла её и не успела подержать, сколько нужно: оно пришло сразу, с первого касания, как приходит всегда — не болью и не холодом, а тем, что под ложечкой срывается и летит вниз, как в санях на раскате.

Кровь.

Я отпустила его. Он не прятал руку. Он опустил её вдоль тела и сказал, глядя всё туда же, в потолок:

— Турецкая, матушка. Плевна. Трое. — И, помолчав: — Ты воды холодной испей. Тебя теперь до завтра мутить будет, я знаю, у нас в полку одна такая была, при лазарете.

— Знаю, — сказала я.

Он пошёл к кадке, зачерпнул ковшом, принёс. Я выпила. Полегчало ненадолго, но сразу. Фёкла смотрела на нас обоих из-за свечи и молчала, и мне бы тогда спросить, о чём, но меня уже мутило.

Перчатку я надела обратно, достала из-за пояса лист в клеёнке и написала карандашом, прижав клеёнку к стене: «Декабря 2-го, в четвёртом часу ночи, в доме купца Прохорова по Соборной улице. Кухарка Фёкла — чиста. Работник Матвей — кровь; объясняет военной службой, Плевна. Дочь не осмотрена, спит. Присяжная чуткая Веригина». Про иней я не написала. Про засов тоже. Лист был для рук, а не для того, что чуткая думает в снях, и в этом я была права по уставу — и больше ни в чём.

Исправник приехал к четвёрём, в тулупе поверх мундира, и слушал меня стоя, не снимая шапки. Бабанин Егор Кузьмич служил в Листвянске девятый год, был грузен, нетороплив и больше всего не любил, когда ему мешали закрыть дело.

— Иней, — сказал он. — Со двора шёл, Домна Лукинична. По нужде выходил, вернулся, оступился. Он с утра пьяный был, Фёкла, пьяный?

— Я не видала, Егор Кузьмич.

— Вот. Не видала. А я видал: по субботам у Прохорова глаза с утра как у судака. Что ты мне про засов-то. Засов — не твоя часть.

— Чья?

— Ничья. А ворота на зады у них сроду не запираются, дрова возят. Лист давай.

Я отдала лист. Он сунул его в папку не читая и папку сунул под мышку.

— Солдат с кровью, — сказал он уже мне, тише. — Это ты правильно написала. Это я запомню. Дочь посмотришь при мне, днём, когда проспится; девицу ночью трогать нечего.

— Он сказал — Плевна.

— Они все говорят Плевна. — Бабанин посмотрел на Матвея, который стоял у кадки и смотрел в потолок, и на хозяина под лестницей, и на Фёклу, и опять на меня. — Ладно. Доктора я послал будить. До доктора никому ничего не трогать. Фёкла, ты слышала.

— Слышала, батюшка.

Доктор Шмидт приехал к пяти, сонный, с саквояжем, который он не раскрыл. Карл Фёдорович служил в земской больнице двадцать лет, лечил весь уезд от всего и давно научился делать это быстро. Он присел над Савелием Игнатьевичем на корточки, потрогал затылок, понюхал рот, поднялся.

— Упал, — сказал он. — Затылком. Пьян. Что ещё.

— Иней был в усах, — сказала я.

— Был и стоял. — Он посмотрел на меня поверх очков. — Домна Лукинична, иней в усах бывает у всякого, кто вышел на мороз и вернулся. Вы бы ещё сказали, что у него нос холодный.

— Нос у него не тронут морозом, Карл Фёдорович, и щёки не тронуты. А усы в инее по волоску. Это вас не удивляет?

Он подумал. Он был честный человек, Шмидт, и ленивый, и второе у него обычно побеждало первое, но не сразу.

— Удивляет, — сказал он. — Но я напишу то, что вижу. А вижу я затылок и перегар. Остальное пусть пишет тот, кому положено.

Положено было Бабанину. Бабанин писал стоя, на подоконнике, и написал быстро.

Когда я выходила, Фёкла стояла у чёрного хода и смотрела на отодвинутый засов. Задвинуть его при мне она не решилась.

* * *

Домой я пришла пешком: Пахома исправник оставил при теле, а будить второго урядника из-за чуткой никто не стал бы. Мороз к утру отпустил, пошёл мелкий снег, и Соборная лежала белая и пустая, с одним жёлтым окном у Прохоровых и одним — у меня. Моё окно было Устино.

Она сидела на кухне в тулупе поверх ночной рубахи, с книгой, которую не читала, и с котом, который спал. Казначей всегда спал, когда в доме было беспокойно: он считал, что так правильнее.

— Кто?

— Прохоров.

— Сам?

— Под лестницей.

Устя посмотрела на мои руки. Она всегда смотрела на руки, когда я возвращалась, — не на лицо. Лицо у меня одно и то же, а руки говорят.

— Кто? — спросила она ещё раз, уже про другое.

— Матвей. Работник. Солдат.

— Старая?

— Он говорит — Плевна.

— А на самом деле?

— Устя. — Я села и стала снимать перчатки, медленно, по пальцу: после касания руки не слушаются, и перчатки снимаются, как с чужих. — На самом деле рука не знает. Рука знает «да» и знает «нет». Старая, новая, турецкая, своя — это уже не рука, это люди. Я тебе двадцать раз говорила.

— Ты мне говорила. Я хочу знать, что ты думаешь.

— Я думаю, что исправник доволен.

— Тебя мутит, — сказала она после молчания.

— До завтра.

— Я печь затоплю.

— Затопи.

Она пошла к печи, и я смотрела ей в спину, на тулуп, из которого она давно выросла, и считала то, чего не написала. Иней в усах у человека, который, по словам исправника, вышел по нужде во двор. Засов, отодвинутый изнутри до конца. Людскую, которую запирают снаружи и отпирает Фёкла, — и солдата, который, выходит, ночью из неё выйти не мог. Сани у самого крыльца чёрного хода, куда возят дрова, а не гостей, — в третьем часу ночи. Два ряда следов к ступеням и полоса между ними. Сапог, поставленный к стене так аккуратно, как не ставят, падая. Дровни к Прохоровым ходят днём, по средам, от Шаллеров. Ночью туда не ездят.

Всё это я знала глазами. В листе было: «Фёкла чиста, Матвей — кровь», и это была правда, и вся правда уместилась в четыре строки, и исправник сунул её под мышку.

Тётка Марфа, чуткая до меня, у которой я выучилась, говорила: рука знает, да рот не докажет. Я этого никогда не любила — ни поговорки, ни того, что за ней стояло. Но Марфа была права чаще, чем мне хотелось.

Печь разгорелась. Устя села рядом на лавку, не снимая тулупа, и положила голову мне на плечо — ей шестнадцать, и она делала это раз в полгода, когда думала, что я не замечу. Казначей проснулся, посмотрел на нас с осуждением и перебрался к печи.

В окно постучали, когда уже светало.

Я встала, подошла и отвела занавеску. У калитки стоял человек в хорошей шубе, без шапки — шапку он держал в руках, как держат перед начальством или перед покойником. Назар Фомич Шумилин, управляющий прохоровским заводом, кум половине уезда, жених Лизаветы Савельевны. За спиной у него стояли сани — хорошие, широкие, заводские, с медвежьей полостью, — и кучер на козлах смотрел в сторону.

Я вышла на крыльцо в накинутом платке, не надевая перчаток: до калитки десять шагов, и я не собиралась подавать ему руку.

— Домна Лукинична. — Он поклонился. Лицо у него было усталое и собранное. — Беда у нас. Я хозяина в третьем часу домой отвёз, пьяного, вернулся на завод — а в пятом ко мне на завод прислал урядник: под лестницей, исправник велит быть в девять. Пахом сказал, вы там были. Я к вам: вы при полиции, вы были, вы скажете, как оно теперь. — Он достал из-за пазухи бумагу, сложенную вчетверо, и подержал её так, чтобы я видела печать. — Савелий Игнатьич на той неделе дом на меня отписал. Дарственная, у Кноппе. Он Лизавету за меня отдавал по весне, вы знаете, весь город знает, и хотел, чтобы дом был в надёжных руках. Мне теперь куда с ней — к исправнику? К нотариусу? Дом-то без хозяина.

Я смотрела на бумагу. Потом на его руки, которые её держали, — большие, ухоженные, без перчаток, с перстнем на мизинце. Смотреть на них моей рукой было незачем: про Назара Шумилина знал весь уезд — шестнадцать лет назад, по молодости, в драке на ярмарке, и присяжные оправдали. Его рука сказала бы мне то же, что рука Матвея, и стоила бы столько же. Сани за его спиной я тоже видела, широкие, заводские, и полоз ближнего ко мне, на котором медная набойка была сбита наискось и оставляла в снегу косую борозду.

— Дом без хозяина сорок дней не трогают, — сказала я. — Так водится. А бумагу вашу я не читаю, Назар Фомич, я при полиции, не при нотариусе. Несите исправнику в девять.

— Понесу. — Он убрал бумагу. — Я только спросить хотел, Домна Лукинична. Вы руки смотрели?

— Смотрела.

— И как?

В третьем часу. За мной прислали в третьем часу, и в четвёртом я уже писала лист. Я это отметила и ничего не сказала: часы в листе стояли, а лист читают в управлении.

— Домашние чисты, — сказала я. Это не было тайной: к утру лист прочтёт исправник, а к обеду — весь город. — Кроме солдата. Но солдат объясняет службой.

Он кивнул, коротко.

— Солдат, — повторил он. — Ну да. Матвей. Он с хозяином ругался, все слышали. — И, уже садясь в сани: — А меня вы не посмотрели. Я не в обиде, Домна Лукинична. У меня история известная, на меня вам и смотреть незачем — всё и так написано, шестнадцать лет как.

Сани тронулись. Косая борозда легла по свежему снегу от моей калитки до угла Соборной, ровная, как по линейке, и я стояла и смотрела на неё, пока её не начало заметать.

Глава 2

К полудню меня отпустило настолько, что я смогла держать чашку, — мутило ещё до вечера, как и положено, но чашку держала, — и Устя сочла это поводом поговорить о банке.

Банка стояла на кухонной полке, за солью, — из-под монпансье, с жестяной крышкой. В ней лежали чужие ключи с картонными бирками: люди оставляли их мне, уезжая или болея, и забывали забрать, а я не напоминала. Отцовская банка стояла рядом, и в ней ключи были ещё старше. Устя вытащила один, с потемневшей биркой, и прочла, шурясь:

— «Дворянская, казённая, чёрный ход». Это чья?

— Ничья. Отец там замок чинил, когда ещё акцизный Прошин квартировал. Прошин умер, ключ остался. Положи.

— Там сейчас новый акцизный живёт.

— Положи, Устя.

Она положила так, что крышка звякнула. Разговор был не о ключах, а о том, что я сижу с чашкой в перчатках, потому что руки ещё не мои, а она на это смотрит и ничего не может сделать. В шестнадцать лет это самое тяжёлое. В сорок один привыкаешь.

— Иди в прогимназию. Опоздаешь.

— Уже опоздала. Я записку написала, что ты больна.

— Я не больна.

— Там не спрашивают, чем. — Она замотала платок и в дверях сказала, не оборачиваясь: — Если за тобой опять пришлют — скажи, что чуткая после касания сутки не выезжает. Это в уставе.

— Это не в уставе.

— Значит, должно быть.

За мной прислали в два. Тот же Пахом, те же санки; днём он смотрел уже не мимо, а на мои руки. Все смотрят на руки, когда знают, что было ночью.

* * *

Полицейское управление в Листвянске помещалось в одном доме с казначейством и земской управой — длинном, жёлтом, с шестью колоннами, из которых две были пустые внутри: мальчишки это знали и стучали по ним на спор. Кабинет исправника был на втором этаже, окнами на собор, и в нём всегда пахло сургучом и мокрым сукном.

Бабанин сидел за столом. Перед ним лежала моя ночная бумага, уже без папки, и ещё одна, сложенная вчетверо, с печатью. У окна стоял Шумилин — в той же шубе, с шапкой в руках, — а на стуле у стены, маленькая, в чёрном, которое ей нашли сегодня утром и которое было велико в плечах, сидела Лизавета Савельевна Прохорова. Семнадцать лет. Я видела её последний раз на Троицу, в белом, у церковной ограды, с подругами. Сейчас она смотрела на свои руки на коленях и не поднимала глаз.

— Домна Лукинична. — Бабанин не встал; он вставал только перед губернскими. — Садись. Лист твой я прочёл. Перепиши начисто, без клеёнки, по форме. И вот ещё что. Господин Шумилин принёс бумагу.

— Я видела.

— Видела, да не читала. Дочь Прохорова я велел пока не трогать — девица в горе, посмотришь при мне, когда скажу. Не сегодня. А я прочёл. Дарственная на дом, от Прохорова Назару Фомичу, у нотариуса Кноппе, двадцать шестого ноября. Всё как положено. Назар Фомич спрашивает, какой теперь порядок.

— Порядок не мой, — сказала я. — Дарственная — к нотариусу и в окружной суд, на ввод во владение. А обычай вы знаете не хуже меня: сорок дней в дом покойного хозяином не входят. Наследница при доме.

— Обычай я чту, — сказал Шумилин от окна. Голос у него был хороший, низкий, тот самый, которым он говорил на всех свадьбах уезда «горько» так, что слушались. — Я не о доме спрашиваю, Егор Кузьмич. Я о другом. В городе с утра говорят, что ночью приходила чуткая и у кого-то нашла кровь. Я не хочу, чтобы говорили, будто у меня. Пусть посмотрит. При вас. Я не прячусь.

Бабанин посмотрел на него долго, как смотрят на человека, который сам лезет туда, куда его не звали.

— Назар Фомич. Ты не домашний. Освидетельствование я назначаю на тех, кто был в доме. Ты был у себя на заводе, при сторожах, при кучере.

У калитки на рассвете он сказал мне: «отвёз в третьем часу». Бабанину, выходит, сказал иначе — или Бабанин услышал так, как ему было удобнее. Я это отметила и промолчала.

— И потом — ты мне что, историю свою хочешь второй раз рассказать? Шестнадцать лет как присяжные тебя оправдали. Весь уезд знает. Она тебя тронет — и что напишет? «Кровь». И будет права. И что мне с этой правдой делать?

— Ничего, — сказала я.

Все посмотрели на меня. Лиза — впервые.

— Ничего, Егор Кузьмич. Напишу «кровь», и это будет стоить ровно столько, сколько «кровь» у Матвея.

— Вот. — Бабанин ткнул пальцем в мой лист. — Солдат — кровь, и этот — кровь, и оба старые, и твоя рука ни того, ни другого от свежего не отличит, ты мне сама это сто раз говорила. А кто дверь отпер или рядом стоял — тот для твоей руки чист, это ты мне тоже говорила. Так зачем мне его трогать? Чтобы Лизавета Савельевна при мне заплакала?

Лиза не заплакала. Она подняла голову и спросила — не исправника, меня:

— Домна Лукинична. А если бы на нём была новая. Вы бы не отличили?

Шумилин у окна переложил шапку из руки в руку.

— Не отличила бы, — сказала я.

— А суд?

— Суд мой лист не читает. Вы это знаете, Лизавета Савельевна, вы в этом городе выросли.

— Знаю. — Она опустила глаза. — Я хотела услышать от вас.

— Я бы дал, — сказал Шумилин. — Честное слово, дал бы. Да толку: покажу то, что все знают, а Лизавету только напугаю. Егор Кузьмич, я в вашей воле. Нет освидетельствования — нет и руки. Я закон уважаю.

— Вот и уважай, — сказал Бабанин.

Шмидт пришёл в половине третьего. Принёс свидетельство о смерти, положил на стол и остался стоять, потому что садиться было некуда.

— Ушиб затылка с переломом при падении с лестницы, — прочёл Бабанин. — В нетрезвом виде. Карл Фёдорович, нетрезвый вид — откуда?

— Запах.

— Запах, — повторила я. — Карл Фёдорович, на полковике под лестницей лежали черепки стакана, и пахло там наливкой на весь угол. Если влить в человека полстакана, когда он уже не глотает, изо рта будет пахнуть наливкой, а в желудке её не будет. Вы желудок смотрели?

— Домна Лукинична. — Шмидт сказал это устало. — Я двадцать лет пишу свидетельства о смерти в этом уезде. Я пишу то, что вижу и что нюхаю. Если вы хотите, чтобы кто-то посмотрел ему в желудок, — это не ко мне, это к судебному следователю, а следователя у нас с октября нет: старый уехал, новый не доехал. Пока доедет — похороним.

— Доехал, — сказал Бабанин.

Он сказал это так, что замолчал даже Шмидт.

— Сегодня утром. Поездом до станции, оттуда на обывательских. Фамилия Лунин. Из губернии. Сидит в камере — ну, в кабинете своём, они это камерой зовут, — печку ему топят. Велел передать, чтобы тело не трогали до его осмотра. — Бабанин развёл руками, насколько позволял стол. — А его уже обмыли. Я Пахома в семь отпустил — чего при теле караулить, бабы в доме, — а Фёкла к восьми и обмыла. Так что осматривать он будет чистого.

— Он сердился? — спросил Шмидт.

— Он записывал.

Больше исправник о новом следователе ничего не знал.

* * *

Мы вышли вместе — я, Лиза и Шумилин; Шмидт остался спорить о чём-то своём. Внизу ждали заводские сани. Лизу он усадил сам, укрыл полостью и обернулся ко мне.

— Домна Лукинична, подвезти? Вам, я слышал, нездоровится.

— Дойду.

— Как знаете.

— Назар, подожди. — Лиза сказала это из-под полости, не громко. — Я хочу с Домной Лукиничной пройти. До угла.

Он замер на полшага. На крыльце стоял Шмидт и смотрел на нас, а на другой стороне площади у аптеки остановились две купчихи и тоже смотрели.

— Конечно, — сказал он. — Я шагом поеду. Следом.

Мы пошли. Лиза держала меня под локоть, за перчатку, крепко. Сани ехали за нами шагом; кучер правил, Шумилин сидел под полостью и глядел на нас обеих в спину.

— Он вам не нравится, — сказала Лиза.

— Я его не знаю.

— Все его знают.

— Все знают, что он говорит на свадьбах «горько». Это не то же самое.

Она молчала до самой аптеки. У аптеки Гольдберга, под вывеской с золотой ступкой, она остановилась и сказала, глядя на ступку, а не на меня:

— Домна Лукинична. Доктор написал — пьяный.

— Написал.

— Отец не пил с Покрова. — Она сказала это ровно, как говорят заученное. — Совсем. Ни капли. Он мне обещал на Покров, при иконе, и не нарушал. Он мне ни разу в жизни ничего не обещал, а это обещал. Сказал: «Лизавета, до твоей свадьбы — ни капли, чтобы отдать тебя трезвым». И не пил. Фёкла знает. Матвей знает. Назар... — она запнулась, — Назар тоже знает, он каждый день у нас обедал.

— А наливка на кухне?

— Наливка для гостей. Отец её на стол ставил, а свой стакан переворачивал, чтобы ему не налили. Привычка такая. Все знали.

Один стакан перевёрнутый. Другой — с наливкой на доньшке.

Я ничего ей не ответила. Я стояла под золотой ступкой и видела прохоровскую кухню: стол, два стакана, перевёрнутый — хозяйский. И второй, из которого пили. Хозяин переворачивал стакан при гостях. Значит, гость был. Значит, гость пил один.

Сани поравнялись с нами. Шумилин откинул полость:

— Лизавета Савельевна, озябнешь. Садись.

Она села и уже из-под полости спросила — тихо, чтобы слышала только я:

— Вы ведь не пишете того, что я сказала. В лист.

— Лист для рук.

— А куда это пишут?

Утром я ответила бы: никуда. Утром у нас в уезде не было следователя. Теперь был — сидел в кабинете, который у них зовётся камерой, и записывал.

— Я найду, — сказала я.

Сани тронулись. Я постояла под ступкой ещё минуту, а потом пошла — не домой, а назад, к жёлтому дому с колоннами: спросить у Пахома, где у них камера следователя и топят ли там печку.

Глава 3

Повестку принёс Пахом в девятом часу утра: «явиться в камеру судебного следователя Листвянского участка к десяти часам для дачи показаний». Подпись — Лунин. Почерк мелкий, с нажимом на последней букве каждого слова, будто внутри слова ставят точку.

— Камера — это где? — спросила Устя, читая через моё плечо.

— Флигель при управлении. Две комнаты. Там старый следователь сидел, пока не уехал.

— А почему камера?

— Так называется.

— Как тюрьма?

— Как кабинет. — Я сняла с гвоздя пятничную пару, серую, с заштопанным указательным. — Иди в прогимназию. Сегодня я не больна.

Флигель стоял во дворе управления, за колоннами, — низкий, в три окна, с печной трубой, из которой шёл дым: значит, топили с ночи. В первой комнате сидел писарь, тот же Фельдман, что и у исправника, и писал что-то, не поднимая головы. Во второй, за столом у окна, стоял человек лет сорока с небольшим, сухой, в форменном сюртуке, который сидел на нём чуть шире, чем надо, и в пенсне, за которым глаза казались меньше, чем были.

Он протянул руку.

Я на неё посмотрела. Он посмотрел на мою перчатку, руку не убрал, а подержал ещё секунду, чтобы я успела отказаться сама. Потом опустил, снял пенсне, протёр платком, надел.

— Лунин. Аркадий Степанович. Вы — Веригина, присяжная чуткая, и вам не подадут руки. Я это знаю. Простите, привычка.

— Домна Лукинична, — сказала я.

— Садитесь. — Он показал на стул напротив. На столе у него, между чернильницей и стопкой бумаг, лежал на блюде лимон, целый, жёлтый, с бугристой кожей; в Листвянске лимоны бывали к Рождеству, в лавке Корзухина, по двугривенному, и покупали их на праздничный стол, а не к утреннему чаю в присутствии. — Чаю? Фельдман принесёт. Я без лимона не могу, а здесь, как я понял, его придётся возить из губернии. Вы позволите?

— Режьте.

Он отрезал два кружка перочинным ножом — себе и мне, — и мой положил на блюде рядом с чашкой, не касаясь чашки. Это я отметила: всё, что делают руки, — моё ремесло.

— Я вызвал вас как свидетельницу, — сказал он, когда Фельдман принёс чай и ушёл. — Не как чуткую. Ваш лист я прочёл в управлении. Он подшит к дознанию, и ссылаться на него я не могу ни в одной своей бумаге. Это вы знаете лучше меня, и больше я к этому возвращаться не стану. Исправник доложил, что вы ночью второго говорили ему про иней в усах и про засов. В дознании этого нет. Я хочу услышать, что вы видели глазами.

Я рассказала. Коротко, по порядку — за сутки это успело разложиться в голове по местам: иней, печи, засов, ворота на зады, след, натоптанные ступени, стаканы, черепки, половик — и сани Шумилина у моей калитки на рассвете, с косой бороздой от сбитой набойки, и его «отвёз в третьем часу». Он слушал, не записывая, и смотрел не на меня, а на лимон на своём блюде. Когда я кончила, он придвинул к себе лист и стал писать — быстро, мелко, тем же почерком, что на повестке.

— Глазами, — сказал он, не поднимая головы. — Всё глазами?

— Всё.

— Тогда это показания свидетельницы Веригиной, и я их приобщу. — Он писал ещё с минуту, потом развернул лист ко мне. — Прочтите и подпишите.

«Я, Веригина Домна Лукинична, 41 года, православная, девица, присяжная чуткая при Листвянском уездном полицейском управлении, будучи вызвана в ночь на 2 декабря в дом

купца Прохорова для освидетельствования рук домашних, помимо того видела следующее...»
Дальше шло моё. Всё. До черепков.

Я подписала. Пальцы в перчатке держали перо плохо, и подпись вышла корявая, но моя.

— Теперь вот что, — сказал он, убирая лист. — Я назначил на сегодня судебно-медицинское вскрытие. Доктор Шмидт извещён и, как мне передали, недоволен. Понятые приглашены — Кузьмин, лавочник, и Пряхин, столяр, оба с Соборной. В дом Прохоровых я иду к полудню — осмотреть ворота и крыльцо прежде, чем тело увезут в покойницкую. Вы поедете со мной. Как свидетельница: покажете, где что лежало. Не трогая.

— Я никогда не трогаю, Аркадий Степанович.

— Я заметил, — сказал он и впервые посмотрел на меня прямо, поверх пенсне. — Поэтому и спрашиваю вас, а не исправника.

* * *

Днём дом Прохоровых был обычным купеческим домом — двухэтажным, в шесть окон по фасаду, с зелёной крышей и палисадником, где под снегом угадывалась сирень. Я ходила мимо него двадцать лет и ни разу не думала о нём как о доме, где может что-то случиться.

Понятые ждали у крыльца и мялись: Кузьмин в хорошей шубе, Пряхин в полушубке; обоих оторвали от лавки и верстака, и оба это показывали. Фёкла открыла нам парадное и отступила в сторону, не глядя. Лизы не было видно; Шумилина тоже. Шмидт сидел в зале на стуле, в шубе, с саквояжем на коленях, и на Лунина посмотрел снизу вверх, хотя сидел он, а Лунин стоял: следователь был моложе его на пятнадцать лет, и право было у следателя.

— Карл Фёдорович. Благодарю. Прежде чем увозить — я прошу вас при понятых осмотреть рану ещё раз. Здесь, при свете. С выбритым затылком.

— При свече, под волосами, в крови, — сказал Шмидт, не вставая, — я видел рану и видел ступень под ней. Я написал то, что видел. Вы хотите, чтобы я теперь сказал, что видел плохо?

— Я хочу, чтобы вы посмотрели ещё раз.

Шмидт встал. При посторонних ленивое в нём проигрывало честному.

Савелия Игнатьевича перенесли в залу, на стол, под образа, как полагается; свечи ещё не зажгли. Он лежал обмытый, в чистой рубашке, с усами, расчёсанными Фёклой, и ничего из того, что я видела ночью, на нём больше не было. Шмидт велел Фёкле принести бритву и таз, понятые повернули тело на бок — Кузьмин побледнел, Пряхин перекрестился, — и доктор выбрил затылок, медленно, сам, ворча на тупое лезвие.

Потом он долго молчал.

— Вдавленный, — сказал он наконец. — Перелом вдавленный. Округлый. — Он повернулся к Лунину, и лицо у него было нехорошее. — При свече этого не видно, Аркадий Степанович. Под волосами, в крови — рана как рана, полоса. Я двадцать лет здесь служу, и я вам скажу при понятых: мне такого в уезде не показывали. Это не ступень. Ступень — ребро, ребро бьёт полосой. Это — круглое, с чайное блюдце. Набалдашник. Полено торцом. Гиря.

— Падение не исключено?

— Падение на что-то круглое — не исключено. — Он вытер бритву. — На этой лестнице ничего круглого нет: столбик гранёный, перила плоские. Я с неё сам падал, в позапрошлом году, на Пасху. И запишите, что вскрытия я теперь требую сам. Сам. Чтобы потом не говорили, что уездный врач не отличил полена от ступеньки.

— Записано, — сказал Лунин. Он и правда писал. — Фельдман перебелит, вы подпишете. Фёкла, сапоги хозяина где?

Сапоги Фёкла принесла из чулана — оба, вычищенные с вечера первого, как она чистила всегда, когда барин уезжал; с тех пор, сказала она, их не трогал никто. Лунин повернул их

подошвами вверх при понятых. Подошвы были сухие, стёртые, без единой крупинки снега в трещинах, и он сказал Пряхину, столяру: «Запомните, как выглядят», — а мне ничего не сказал, только посмотрел. Человек, который прошёл по снежному двору от ворот до крыльца, несёт снег в трещинах подошв до самой печки, а печка их за час не высушит. Эти — не несли ничего.

Потом он велел понятым выйти с ним на задний двор и позвал меня.

Ворота на зады стояли, как в ту ночь, приоткрытые; дорога от них к чёрному крыльцу была затоптана за два дня до серого месива, и следа на ней не было никакого. Я это сказала, и Лунин записал «со слов свидетельницы». Потом я посмотрела на сами ворота — и увидела то, чего ночью, при свече Фёклы, не разглядела.

— Жердь, — сказала я.

Ворота на зады в Листвянске не запирают на замок, тут исправник был прав. Их закладывают изнутри жердью — поперёк, в две скобы, — и жердь эта у Прохоровых стояла сейчас не в скобах, а прислонённая к столбу, и на ней лежал снег: ровный, нетронутый, со вчерашнего утра.

— Фёкла, — сказал Лунин. — Кто у вас закладывает ворота на ночь?

— Хозяин, батюшка. Сам. Каждый вечер, в девять, после печей. Говорил — за дрова не отвечаю, если сам не заложил.

— Первого вечером закладывал?

— Заклаживал. Я слышала, как жердь стукнула. Я всегда слышу.

— А утром она стояла так?

Фёкла посмотрела на жердь. Она смотрела на неё, кажется, впервые за два дня, и я видела, как она понимает то, что поняла я: жердь с воротами не выломаешь снаружи. Её можно только снять. Изнутри. Руками.

— Так, батюшка, — сказала она тихо. — Я не трогала.

— Запишем, — сказал Лунин, записывая. — Жердь воротного запора снята со скоб и прислонена к столбу изнутри двора; на жерди снег; кухарка показывает, что не трогала. — Он оглядел двор: забор в сажень, глухой, с улицы — только ворота, из дома — только чёрное крыльцо. — Снять её можно было, перелезши через забор, либо выйдя из дома. Через забор в сажень с жердью в три аршина не лезят. Домна Лукинична, это вы увидели глазами?

— Глазами.

— Хорошо.

«Хорошо» он сказал без улыбки, но повторил дважды.

Тело увезли в покойницкую при больнице в третьем часу; Шмидт поехал следом, мрачный и трезвый. Понятые разошлись. На крыльце Лунин остановился надеть калоши и сказал, глядя на свои ноги:

— О том, что вы знаете рукой, я спрашивать не буду. Ни о ком. Это устав — ваш и мой, они тут совпадают.

— Я знаю разницу, Аркадий Степанович.

— Вижу. — Он выпрямился, поклонился коротко, по-губернски, и пошёл по Соборной к флигелю, не оглядываясь.

Я осталась на крыльце. Фёкла стояла за мной в сенях, и я слышала её дыхание.

— Фёкла, — сказала я, не оборачиваясь. — Кто пил из второго стакана?

Она не ответила. Она закрыла за мной дверь — тихо, не хлопнув, — и задвинула засов, и это был первый раз за два дня, когда я услышала, как в этом доме что-то запирают.

Глава 4

Хоронили Савелия Игнатьевича пятого, в воскресенье, при оттепели.

Оттепель в декабре — это когда снег на Соборной становится серым и тяжёлым, с крыш каплет, а на кладбищенской горке лошади идут в полозьях, как в грязи. Народу собралось полгорода: Прохорова не любили, но он был первый винокур уезда, и смотреть, как его несут, пришли все, кто брал у него в долг, и все, кому он отказал. Я стояла у ограды, в воскресной паре, и смотрела не на гроб, а на руки. Это дурная привычка, и на похоронах она особенно дурна, но отучить себя я не могла: руки несли, руки крестились, руки держали платки.

Отец Василий отпевал долго и хорошо. Он был мягкий человек, наш настоятель, с голосом, который умел заполнить собор, не поднимаясь, и после службы, когда гроб уже выносили, он остановился возле меня на паперти, будто поправить рукав.

— Домна Лукинична. Вы ведь ночью были.

— Была.

— Меня позвали служить литию в четверг, в шестом часу утра, до обмывания. Он ещё под лестницей лежал. — Он смотрел на выносящих. — Я ему лоб перекрестил. В горнице было тепло, печи с вечера, а лоб — как с мороза. Не холодный, какими они бывают через сутки, а ледяной. Я сорок лет отпеваю, я разницу знаю. Никому не говорил, потому что никто не спрашивал. Вас — спрашивают?

— Теперь спрашивают.

— Тогда скажите тому, кто спрашивает. — Он перекрестил выносимых и отошёл.

Лунин стоял в толпе у ворот, в своём широком пальто, и считал. Этот взгляд я знала по себе.

Племянник приехал к самому выносу.

Викентий Тарутин, племянник акцизного, сын его покойной сестры, приходился Прохорову дальней роднёй по жене и звал его дядей по-свойски; лет двадцати семи, жил в губернии и, по слухам, нигде не служил; чем жил — в Ливвьянске знали, но при Лизе не говорили. Он пробился через толпу к гробу, снял шапку, припал — громко, чтобы видели. От него пахло вчерашним. Я стояла близко и видела ещё одно: оттепель, слякоть по щиколотку от станции до самого собора, двенадцать вёрст на обывательских через раскисшую дорогу, — а сапоги у него были сухие. Начищенные. Сухие по самый верх голенища.

* * *

Поминки справляли у Прохоровых, в зале, где три дня назад лежал хозяин. Стол поставили длинный, в два ряда; Фёкла с двумя наёмными бабами носила кутью, блины, кисель, рыбу; Лиза сидела во главе в своём чужом чёрном и ничего не ела. Шумилин сидел по правую руку от неё — не как жених, рядом, а как управляющий, который распоряжается: он и распоряжался, вполголоса, коротко, и бабы его слушались лучше, чем Фёклу.

Меня посадили в конце стола, у двери. Это было правильно: чуткую зовут на поминки, потому что не позвать нельзя, и сажают у двери, потому что сажать ближе страшно. Я привыкла. С одной стороны от меня сидел Шмидт, с другой — пустой стул, который так и остался пустым.

Тарутин сидел ближе к середине, среди купцов.

Ипполит Карлович Тарутин, помощник окружного акцизного надзирателя, заведовал нашим участком третий год и был в Ливвьянске тем, что называется «образованный человек». Он выписывал газеты, носил очки в золотой оправе, говорил «прогресс» и «просвещение» и

писал красивым почерком — его бумаги я видела в управлении, их узнавали издали по круглым буквам. Купцы его побаивались и звали на все поминки; он всегда приходил.

Говорил он негромко, своим соседям по столу — старшине Корзухину и двум лавочникам, — но стол был длинный, а зала тихая, и до двери доходило всё.

— ...телеграф, железная дорога, судебные уставы. И при этом — третий день — город обсуждает, у кого нашли кровь. Нашли! Как будто это щука в проруби. — Корзухин хмыкнул. — Я ничего не имею против Домны Лукиничны. Но вы, Фрол Акимович, человек образованный, вы мне скажите: чего стоит слово, которое нельзя проверить? На которое нельзя сослаться? Которое честного человека, имевшего несчастье когда-то, — он не договорил, — делает навеки подозрительным? Это не прогресс. Это, простите, присяжная ведьма при казнённом жалованье. Я бы предпочёл, чтобы о покойном судили по медицинскому свидетельству.

Шмидт рядом со мной сказал в тарелку, тихо: «Свидетельство я переписал, Ипполит Карлович». Тарутин не услышал. Лиза смотрела в свою кутю. Шумилин смотрел на Тарутина, и лицо у него было довольное.

А Лунин у стены протёр пенсне.

Я уже знала, что он делает это, когда ему нечего возразить. Но сейчас возражать было нечему и некому — он сидел молча, его никто не спрашивал. Он протирал пенсне, глядя на Тарутина, долго, тщательно, и надел его, только когда тот отвернулся к Корзухину. Так на незнакомых не смотрят.

* * *

Разъезжались в сумерках. Оттепель к вечеру подморозило, Соборная стала стеклянной, и бабы цеплялись за мужиков, а мужики — за заборы. Крыльцо у Прохоровых высокое, в восемь ступеней, и за день по нему натекло и схватилось льдом; Шумилин, как хозяин, стоял внизу и сводил гостей — подавал руку купчихам, подхватывал под локоть стариков, и делал это хорошо, с шутками, не торопясь.

Мне он руки не подал. Он знал. Он посторонился, давая мне сойти самой, и я сошла бы, — я двадцать лет хожу по льду в перчатках и умею, — если бы не Лиза.

Она вышла проводить, без шубы, в одном платке поверх чёрного, и оступилась на верхней ступени. Я была ниже на три, обернулась, подхватила её — за локоть, за ткань, как умею, — и под собственной ногой почувствовала лёд.

Дальше было быстро. Лиза устояла. Я — нет. Я поехала вниз боком, выставив руку, и рукав пальто задрался до половины, и снизу меня поймали.

Шумилин. Он был ближе всех, он ловил весь вечер, и поймал за что пришлось: за предплечье, над перчаткой, где между лайкой и сукном было с ладонь голой кожи. Его пальцы — большие, тёплые, без перчатки — сомкнулись на ней, и он поставил меня на ноги, и отпустил, и всё это заняло столько, сколько занимает «ах» у купчихи на крыльце.

Оно пришло сразу.

С Матвеем я хотя бы держала его руку сама и знала, что держу. Здесь я не ждала ничего, кроме льда. Когда не ждёшь, оно бьёт не под ложечку — оно бьёт в ноги. Я сделала три шага от крыльца, к церковной ограде, потому что ограда была ближе всего, и ухватила за неё обеими руками, и стояла, согнувшись, и не могла разогнуться, и слышала, как у меня стучат зубы.

С крыльца никто не видел его руки на моей: он стоял спиной к ним, я падала к нему лицом, всё было закрыто его шубой и заняло один вздох. С крыльца видели другое: чуткая сошла, дошла до ограды и согнулась над снегом.

— Чуткая-то, — сказал кто-то негромко и ясно. — На поминках. Ишь.

— С мороза, — сказал Шумилин. Громко, на крыльцо. — Домне Лукиничне дурно, целый день на ветру. Лизавета Савельевна, в дом. Я провожу.

Не проводил. Стоял у нижней ступени и смотрел на меня, и лицо у него было — я видела это снизу, от ограды, сквозь воду в глазах — спокойное. Что я почувствовала, он знал. И знал, что я знала и до того: про его руки знал весь уезд, шестнадцать лет как. Он не прятал их, потому что прятать было нечего. Он просто стоял и ждал, пока мне станет лучше.

Мне стало лучше не скоро.

Когда я разогнулась, у ограды рядом со мной стоял Луний. Он не держал меня — он знал, что нельзя, — он держал платок, чистый, сложенный, и протягивал его так, чтобы я могла взять сама. Я взяла. Перчатка была мокрая от снега, и платок сразу промок.

Крыльцо опустело. Лиза ушла в дом, Шумилин — за ней. Тарутин в дверях задержался дольше всех и ушёл последним, и я видела, что он не улыбался: он смотрел и запоминал. Потом это ляжет в бумагу, круглыми буквами.

— Вы можете идти? — спросил Луний.

— Могу.

— Тогда идите. Медленно. Я рядом, но не держу.

Мы пошли. Соборная стеклянno блестя, с крыш уже не капало, и наши шаги — мои и его, в калошах, — были единственным звуком на всей улице. У аптеки Гольдберга он сказал, не поворачивая головы:

— Я стоял у ворот. Я видел его руку на вашей — над перчаткой. И видел ваше лицо через секунду.

— Видели.

— По форме это ничто, Домна Лукинична. Вы его не свидетельствовали. Постановления не было. В листе этого не будет, и я вас об этом не спрошу, потому что не имею права, а вы не имеете права отвечать. — Он помолчал. — Но я видел. И я не слепой.

Я ничего не сказала. Я шла по стеклянной улице в мокрых перчатках, с чужим платком в кулаке. Дома я повешу воскресную пару сушиться и завтра надену понедельничную. Перчатки у меня, по крайней мере, были на каждый день.

Глава 5

Освидетельствование назначили на вторник, седьмого, в кабинете исправника — во флигеле у следователя не поместились бы, — и я пришла во вторничной паре, как положено по дню.

В кабинете было тесно. Бабанин за своим столом — хозяин места, не дела; Лунин у окна с тетрадью; писарь Фельдман в углу с чернильницей на коленях; Шмидт на стуле у стены. Шумилин стоял у печки. Лиза сидела у двери, в том же чёрном, уже ушитом в плечах, и смотрела в окно, на собор.

— Освидетельствование рук назначено мною, — сказал Лунин. — Кабинет Егор Кузьмич предоставил любезно. Фельдман, пишите. Егор Кузьмич, вы хотели сказать о работнике.

— Хотел. — Бабанин перевернул лист. — Карл Фёдорович, акт вскрытия где?

— Пишу, — сказал Шмидт. — Восемь листов. К пятнице.

— Вот. К пятнице. А я пока про работника. Матвей Сухов, отставной рядовой. Ругался с хозяином тридцатого ноября при свидетелях — Фёкла слышала, кучер слышал. Кровь на нём есть, чуткая писала. Я бы, Аркадий Степанович, с солдата и начал. Из-за чего ругался, Фёкла?

Фёкла стояла у двери. Я её сразу не увидела — она умела стоять так, чтобы её не видели.

— Из-за валенок, батюшка. Подпаску, Гришке. Хозяин не давал, Матвей говорил — замёрзнет мальчонка. Кричали оба.

— Кричали оба. — Бабанин записал это сам, крупно, поверх листа. — Матвей где?

— В людской. Велено сидеть.

— Пусть сидит.

— Освидетельствование, — сказал Лунин от окна, не отрываясь от тетради. — Все, кто имел в дом свободный доступ и мог быть в нём в ночь на второе. Дочь покойного, Прохорова Елизавета. Управляющий заводом Шумилин как лицо, вхожее в дом. Кухарка и работник освидетельствованы ранее.

Лиза встала первой.

Она подошла ко мне через весь кабинет, через все эти взгляды — Бабанина, Шмидта, писаря, — и остановилась, и сняла перчатку, чёрную, тонкую, и протянула руку ладонью вверх, как подают милостыню, а не как берут. Я сняла свою. Пальцы у неё были холодные и очень лёгкие, и я подержала их, сколько нужно, и за первым холодом не было ничего.

— Чиста, — сказала я. Фельдман заскрипел.

Лиза надела перчатку и вернулась на место. Она не посмотрела ни на Шумилина, ни на меня. Она посмотрела на собор.

— Назар Фомич, — сказал Лунин.

Шумилин стоял у печки, заложив руки за спину. Он не вынул их.

— Аркадий Степанович, — сказал он спокойно, тем голосом, которым говорил «горько», только тише. — На прошлой неделе я здесь же, в этом кабинете, сам просил Егора Кузьмича. Он отказал, и правильно: в уездную папку — дал бы, не жалко, папку эту никто не прочтёт. А вы — следователь окружного суда. Вы подошьёте «кровь» к делу об убийстве. К делу об убийстве отца моей невесты. И это поедет в губернию, и его там прочтут, и никто не станет читать рядом, что это — шестнадцать лет назад, драка на ярмарке, и что присяжные меня оправдали, потому что я оборонялся. — Он посмотрел на Лизу, коротко. — Я свободный человек. По уставу свободный человек вправе руки не дать. Я не даю.

— Запишите, — сказал Лунин писарю, не поднимая головы. — Шумилин Назар Фомич от освидетельствования отказался, ссылаясь на статью устава о присяжных чутких, дающую свободному лицу право отказа. Отказ правомерен. — Он поднял голову. — Это всё, что я могу записать, и это всё, что это значит. Отказ — право, не улика.

В дверь постучали, и вошёл Тарутин — с бумагой, к исправнику: по акцизной части, подпись на ведомости. Он извинился, что помешал, положил бумагу Бабанину на стол, выслушал — потому что Шумилин как раз договаривал — и, когда Лунин кончил диктовать, сказал:

— Простите, господа, я слышал последнее. Можно мне? Я не вхож в дом Прохорова, бывал там дважды, по делу, при свидетелях. Но я хочу, чтобы было записано: акцизный чиновник Тарутин, не будучи обязан, дал руку присяжной чуткой добровольно. Чтобы ни у кого не было вопросов. — Он снял лайковую перчатку — тонкую, палец за пальцем, не торопясь — и протянул мне руку: не ладонью вверх, как Лиза, а как подают для рукопожатия, и мне пришлось взять её так. — Прошу, Домна Лукинична.

Рука была сухая, тёплая, с ухоженными ногтями, и за ней не было ничего. Совсем ничего. Я подержала дольше, чем нужно, и он это заметил и слегка приподнял бровь, и я отпустила.

— Чист, — сказала я.

— Благодарю. — Он надевал перчатку так же, палец за пальцем. — Вот, господа, и вся цена этому ремеслу. Солдат — кровь, потому что воевал. Управляющий — отказался, потому что не хочет, чтобы прошлое, прощённое судом, лежало в бумаге. Чиновник — чист, потому что чист. Что нового узнало дознание? Ничего. Что оно потеряло? Полчаса и доброе имя двух честных людей. Я это говорю не против Домны Лукиничны. Я это говорю против устава, который держит при уездной полиции... — он подобрал слово, — средневековье. Я напишу об этом в губернию. Я считаю своим долгом.

— Пишите, — сказал Лунин. Ровно, без нажима. Потом закрыл тетрадь и сказал — не Тарутину, всем: — Фельдман, последнее. Старая кровь, оправданная судом или нет, — не улика ни за, ни против. Она делает руку чуткой бесполезной для различения, и только. Следствие продолжается.

Бабанин крикнул и велел Фельдману поставить точку.

* * *

Домой я шла одна — Устя была в прогимназии, — и дома первым делом стала мыть руки.

Это тоже устав, только мой собственный: после касания — мыть, с мылом, холодной водой, долго. Марфа говорила, что это глупость и рука моется не водой. Она была права, но мне помогало. Я мыла их сейчас — обе, хотя трогала только правой, — и думала не о Шумилине. О Шумилине думать было нечего: он сделал то, что имел право сделать, и сделал это красиво, при невесте, помянув присяжных, и половина кабинета ему, кажется, сочувствовала. Думать о нём значило бы делать то, за что Тарутин обещал написать в губернию.

Я думала о Тарутине.

Он был чист. И эта рука сама легла в мою — не ладонью вверх, по-просительному, как Лизина, а по-мужски, как подают равному, и он даже бровь приподнял, когда я задержала.

Я мыла руки и вспоминала, как он снимал перчатку. Палец за пальцем. Не торопясь.

Устя пришла в четвёртом часу, бросила сумку с книгами у порога, посмотрела на мои руки — я всё ещё стояла у кадки — и спросила:

— Опять кровь?

— Нет.

— А кто был?

— Лиза Прохорова — чиста. Шумилин руки не дал. Тарутин дал — чист.

— Тарутин же чист, — повторила она. — Ну и хорошо. Он хоть и противный, зато...

— Чист.

— Тогда что ты моешь?

Я посмотрела на свои руки. Они были красные от холодной воды, до запястий, с цыпками, которые к весне никогда не заживали. Мыть их было незачем: на них сегодня не было ничего, кроме Лизиного холода и Тарутиного тепла.

— Не знаю, — сказала я.

И это была правда. Я вытерла их полотенцем, надела перчатки и пошла ставить самовар: Устя была голодная, а руки — это руки, их можно домыть завтра.

* * *

Он пришёл в шестом часу, когда уже стемнело, а Устя ещё сидела над немецким, и посту- чал в калитку — негромко, три раза.

Казначей поднял голову. Я подошла к окну и отвела занавеску: у калитки, под снегом, который шёл с полудня, стоял человек в форменном пальто и держал бумагу.

— Домна Лукинична. — Лунин снял шапку, и снег с неё посыпался ему на плечи. — Простите за час и за то, что сам: Пахома я отпустил в четыре, а повестку надо вручить сегодня. Выезд на завод завтра в семь, по льду. Вот. — Он подал бумагу через калитку. — Распишитесь, и я пойду.

Я расписалась карандашом, который он подал следом, и не ушла в дом, и он не ушёл от калитки. Снег шёл между нами.

— У вас есть вопрос, — сказала я. — Вы его не задаёте, потому что это не допрос.

— Два вопроса. И они не о деле. Они о городе, которого я не знаю. — Он помолчал. — Если это удобно — на крыльце. В дом я не пойду, не тот час.

Устя, разумеется, уже стояла в сенях.

— Я вынесу чай, — сказала она. — На крыльцо. Там лавка.

— Ты учишь немецкий.

— Я вынесу чай и буду учить немецкий.

Она вынесла — два стакана в подстаканниках, чтобы можно было держать в перчатках, — и ушла в сени, оставив дверь приоткрытой ровно настолько, чтобы слышать всё и не быть при этом. Лунин сел на лавку, я — на другой край; между нами уместились бы ещё двое.

— Первый вопрос, — сказал он. — Людские в купеческих домах у вас запирают на ночь?

— Смотря у кого. У Прохорова — снаружи, на засов, с тех пор как лет пять назад у него увели упряжь. Фёкла отпирает утром. Это все знают: Матвей ругался, что он как в остроге.

— Снаружи. — Он не записывал — руки были заняты стаканом, — но я видела, что запомнил. — Значит, из людской ночью во двор не выйти.

— Не выйти. И не войти.

— Второй вопрос. Если человек приезжает утренним поездом на станцию в оттепель — как он добирается в город?

— На обывательских от Сидорова, если заказано. Или на почтовых, если повезёт. Две- надцать вёрст по раскисшей дороге, два часа. Сапоги при этом... — я подумала, как сказать, чтобы это было «глазами», — сапоги при этом не остаются сухими. У ямщика спросите, он помнит всех, кого вёз в воскресенье. Их было, думаю, двое: поезд в оттепель полупустой.

— Спрошу. — Он отпил чаю. — Это всё. Остальное я не имею права вам говорить, а вы — слушать. Половину вы и так поняли.

— Про племянника.

— Я этого не сказал.

Мы помолчали. Снег шёл на наши стаканы и таял в них.

— Есть ещё одно, — сказал он. — Не вопрос. Я говорю это, чтобы вы не удивлялись потом. Господина Тарутина я знал в губернии, по другому делу, три года назад. Сказать о том деле я ничего не могу — это было бы предубеждение, а предубеждения я не имею права

иметь. Я сказал ровно столько, чтобы вы понимали, отчего я с ним осторожнее, чем он того заслуживает на вид.

— Он дал мне руку сам. Чист.

— Я видел. — Лунин поставил стакан на лавку. — Домна Лукинична, человек, который точно знает, о чём его не спросят, подаёт руку легко. Это не против него. Это против меня — потому что я должен спрашивать о другом, а о чём, я пока не знаю.

В сенях скрипнула половица: Устя переступила с ноги на ногу.

— Завтра, — сказал он, вставая. — Одиннадцать человек по списку: все, кто был на заводе в ночь на второе. Кучер — последний. Управляющего в списке нет: он не рабочий, и он уже отказался, повторно просить я не вправе. Понятых беру своих. Вы — как сведущее лицо, по постановлению. — Он надел шапку. — Одиннадцать рук, Домна Лукинична. Я понимаю, что это такое. Если среди них будет хоть одна — вы завтра не доедете домой. Поэтому сани мои, и обратно я вас привезу сам. Если откажетесь — запишу отказ правомерным.

— Не откажусь.

— Я так и думал. — Он поклонился и пошёл к калитке, и у калитки обернулся: — Сторож при присутствии до сих пор ищет, кто в пятницу запер за нами калитку изнутри. Я ему не сказал.

И ушёл. Я заперла за ним и, возвращаясь, поняла, что смеюсь — не вслух, внутри, как не смеялась давно.

Устя стояла в сенях, под перчатками, с немецкой грамматикой под мышкой.

— Он тебе нравится, — сказала она.

— Он мне полезен.

— Ты смеёшься.

— Он запер калитку. То есть — я заперла, а он молчит. — Я сняла платок. — Иди учи.

Завтра мне одиннадцать рук.

Она не двинулась.

— Домна. Одиннадцать. Ты же каждую...

— Каждую.

— И после каждой...

— После каждой — ничего, если она чиста. Это не больно, Устя. Это как ждать удара, которого нет. Одиннадцать раз.

Она подумала.

— А если будет?

— Тогда он привезёт меня обратно. Он сказал.

Она ушла в горницу, и я слышала, как она не учит немецкий. Я повесила платок на гвоздь, рядом с перчатками, и достала из кармана повестку. На обороте, тем же мелким почерком с нажимом на последней букве, был список: одиннадцать имён. Я прочла их все. Последним стояло: «Пров, кучер».

Глава 6

Завод Прохорова стоял за рекой, в двух верстах от города, и зимой к нему ездили по льду: санная дорога шла от пристани наискось, мимо вешек, и в оттепель по ней не ездил никто, а в мороз — все. Утром восьмого мороз вернулся, и мы ехали по льду в казённых санях следователя, укрытые казённой же полостью, которая пахла табаком и чужим псом.

— Одиннадцать, — сказал Лунин, когда показались трубы. — Я ещё раз спрошу: вы уверены?

— Я уверена в одном: если спрашивать по второму разу, станет одиннадцать с половиной. Он не улыбнулся, но пенсне протирать не стал.

Винокуренный завод зимой — это запах. Его слышно за версту: тёплый, кислый, хлебный, с горечью внизу, как от пригоревшей каши, которую забыли на плите на неделю. Бражные чаны стоят в длинном сарае, и над ними идёт пар; в соседнем, каменном, — перегонный куб и холодильник, трубы в медной оплётке, а на выходе, под замком и под пломбами, спиртоприёмник: медный снаряд с циферблатом, который считает всё, что через него прошло, и отчитывается перед казной лучше любого человека. Я бывала здесь дважды — оба раза по вызову, при увечьях, — и запах с тех пор не изменился.

Шумилин встретил нас у конторы. В рабочем тулупе, без шапки, с лицом человека, который с пяти утра на ногах и рад, что хоть кто-то приехал по делу.

— Аркадий Степанович. Домна Лукинична. — Поклон мне был такой же, как ему, — сделано хорошо. — Всё готово. Люди собраны в солодовне, там тепло. Книги на столе. Что ещё?

— Снаряд, — сказал Лунин. — Пломбы. При понятих.

Понятих он привёз с собой — тех же Кузьмина и Пряхина, которые уже смирились с тем, что эта неделя у них пропала. Пломбы были целы: свинец, казённая печать, проволока, ни царапины. Лунин сличил номер с книгой, записал, и Шумилин смотрел на это спокойно, как смотрят на ревизию, которых видели десятки.

— Книги, — сказал Лунин.

Книг было две: заводская, где записывают затор, выкурку и отпуск, и книга при снаряде — в неё надзиратель при каждом приезде вписывает показания циферблата и расписывается; свой журнал он держит у себя в участке, на завод возит только эту. Лунин положил обе рядом и листал долго, страницу за страницей, сличая цифры пальцем. Я стояла у печки и грела руки, потому что мне скоро предстояло их снимать.

— Сходятся, — сказал он наконец.

— Как же иначе, — сказал Шумилин.

— Как иначе — я знаю. Я семь лет в губернии сличал книги. Они не сходятся никогда. Штоф усушки, ведро недолива, ошибка писаря. Здесь — сходятся. За три месяца ни одной помарки. — Он закрыл обе. — Это не упрёк, Назар Фомич. Это наблюдение. Аккуратная рука у вашего надзирателя.

— Господин Тарутин, — сказал Шумилин. — Он и в заводскую заглядывает, поправляет, если что. Он человек точный.

— Я вижу.

Он сказал это так же ровно, как всё, и перешёл к людям.

* * *

Солодовня была длинная, низкая, тёплая, с рядами ларей вдоль стен; одиннадцать человек стояли вдоль ларей, сняв шапки, и смотрели — не на следователя. На меня.

Я их знала. Не всех по именам, но в лицо: винокур Семён Лукич, старик, сорок лет при кубе, у него от спирта слезились глаза; два кочегара, братья Ляпины; солодовщик, бондарь, кубовщик, возчики, мальчишка-подкидыш при чанах, которого все звали Гусь. И в самом конце, у двери, кучер Пров — невысокий, в полушубке, с лицом, которое я не запомнила бы и в третий раз: такие лица носят люди, которым выгодно, чтобы их не запоминали.

Лунин прочёл постановление — своё, но по казённой форме, какой пишут в управлении: «освидетельствовать руки нижепоименованных через присяжную чуткую на предмет указания к розыску». Люди слушали, глядя в пол. Потом Лунин сказал:

— Каждый вправе отказаться. Отказ запишу. Он ничего не значит.

Не отказался никто. В солодовне у Прохорова не отказываются: за отказ управляющий не рассчитает, но запомнит, а запомнить он умеет.

Я сняла правую перчатку и пошла вдоль ларей.

Это не описать так, чтобы было понятно, и я не буду пытаться. Скажу, как считала. Семён Лукич — старая сухая ладонь, дрожит, пахнет сивухой; чист. Ляпин-старший — ничего; Ляпин-младший — ничего, только смотрит в сторону, как все мужики, когда их трогает баба при народе. Солодовщик, бондарь — чисты. Возчики, трое, — чисты, у одного рука в язвах от холода, и я держала её дольше, потому что язвы не повод держать меньше. Гусь — руку сунул сам, с любопытством, и держал мою, пока я не отняла: мальчишке четырнадцать, он ещё не понял, чего бояться. Чист.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.